



УДК 177.7, 316.32

КТО ПРОТИВ ЖЕРТВЫ? К ВОПРОСУ О ГЕНЕАЛОГИИ ПОНЯТИЯ «ЖЕРТВА»*

© Е. А. Иваненко

Иваненко Елена Анатольевна
доцент кафедры философии
Самарская
гуманитарная академия
e-mail: iv@webvertex.ru

Данная статья направлена на концептуализацию понятия «жертва» (*victim*) в контексте современных изменений в социо-культурном пространстве. Перспектива, заданная «культурой виктимности» (*victimhood culture*), выводит жертву как самостоятельный атомарный объект, существующий на собственных условиях и задающий размерность социального ландшафта. Такой статус жертвы ломает традицию ее осмыслиения «от обратного» (жертва-жрец, жертва-палаch, жертва-преступник). В статье приводится анализ трансформаций диады «жертва-Х» с целью осмыслиения природы виктимократии.

Ключевые слова: жертва, культурная виктимология, самореферентность, виктимократия.

Корректная теоретическая рамка для понимания роли жертвы в современном социальном пространстве – это серьезный вызов для исследователя. Глобальные экономические и политические процессы быстро меняют начинку понятия *жертва*, оставляя нам лишь возможность предаваться столь милому философскому сердцу удивлению. Удивлением и замешательством пронизан и передовой фронт виктимологии, находящейся в непростом положении позитивной науки, чей предмет начинает заявлять права на собственный суверенитет. Для западной традиции

* Публикация подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-исследовательского проекта РФФИ № 19 011 00872 «Философская антропология жертвы: сакрализация, управление, дизайн».

виктимологии, заданной Мендельсоном еще в 1947 году, где жертва вполне определено понимается как «пострадавший от преступления», необходимость нового подхода к концептуализации жертвы выражена в так называемом *виктимологическом повороте*, который по большому счету констатирует факт неукротимого размывания границ понятия. Многочисленные направления victim studies сканируют социальное пространство в глобальном и локальных форматах с целью отследить растущие вариации жертвы и выработать единый методологический аппарат, чтобы понять суть жертвоцентрированного процесса, официально стартовавшего с того самого момента, как виктимология обособилась от криминологии и начала свой собственный путь. В 1972 году социолог Ричард Квинни (Richard Quinney) задал импульс поиска своим провокационным вопросом «Кто есть жертва?» (Who is the victim?), определив открытое беспокойство в самом центре виктимологии: «Жертва не может приниматься как данность. Следует признать, что жертва — это концепция реальности, равно как и объект воздействия событий... Все части, вовлеченные во взаимодействие, конструируют реальность. И в более широком социальном контексте мы все, на уровне здравого смысла, вовлечены в конструирование «преступления», «преступника» и «жертвы»¹. Этот вопрос открыл путь для развития междисциплинарности в изучении жертвы, что в свою очередь через пару десятков лет привело к постулату, выдвинутому Франком Фюреди (Frank Furedi) и актуальному по сей день: «внимание к жертве находится в своем зените»².

Итак, жертва как культурная переменная определяется контекстом. Мы уже неоднократно отмечали неоднородность смыслов, упакованных в слове *жертва*, теперь попробуем прописать еще один фрагмент в этой картине.

Культурная презентация жертвы сегодня отличается эклектичностью и вовлекает в свое поле множество вариаций «жертв чего-либо», от архаических до ультрасовременных. Свежеобразованное исследовательское поле *культурной виктимологии* выделяет легитимные и маргинальные области формирования жертв³. К первым — доставшимся по наследству от «старой» виктимологии — относятся войны, политические и государственные режимы, исправительные лагеря, угнетение и, конечно же, ««конвенциональное» преступление, то есть нормальное, рутинное, стандартное преступление, происходящее, как правило, в публичном пространстве»⁴. К маргинальным областям относят экологическое загрязнение, внутренние и частные вооруженные конфликты, международные криминальные сообщества, а также свежеоткрытые целинные территории виктимизации, обозначенные в расовых и (пост)колониальных исследованиях, исследованиях миграционного контроля, исследованиях неолиберального наказания и этнографии политического насилия. Этот далеко не полный перечень

¹ Richard Quinney. Who is the victim? // Criminology, November 1972. P. 314.

² Frank Furedi. (1998). New Britain: a nation of victims. Society, 35(3), 80–84.

³ Hoondert Martin. Introduction: Cultural Practices of Victimhood // Cultural Practices of Victimhood. Edited by Martin Hoondert, Paul Mutsaers, William Arfman. Routledge, 2018. P. 2

⁴ Walklate Sandra. Who is the victim of crime? Paying homage to the work of Richard Quinney // Crime, Media, Culture: 8(2): 2012. P. 173–184.

открывает новый подход к всестороннему исследованию жертвы, который, с одной стороны, развивается на волне энтузиазма, так как освобожден от слишком тесных методологических рамок позитивистского толка, а с другой стороны, пробуждает в виктимогенном тупике, так как подозревает себя в производстве фантомных конструктов жертв (то есть способствует возникновению новых конструктов жертв там, где их может и не быть). Нам кажется, что сам этот побочный эффект не случаен и, более того, имеет функциональный характер — в определенной области современной культуры жертвы действительно начинают расти как грибы, проявляя признаки самоорганизации; мы к этому вопросу еще вернемся ниже.

Здесь же следует заметить, что культурная виктимология знает о недостаточности собственных теоретических оснований и всячески пытается этот момент компенсировать, в частности через двойное смещение акцентов: сначала в сторону жертвы как агента действий, а потом в сторону культуры как практик жертвы. Первым делом акцент смещается с общепринятой виктимологической дефиниции жертвы как пассивной и статичной в сторону «жертвы как социального актора, который способен управлять своими действиями и самостоятельно формировать опыт виктимности, вместо того, чтобы просто быть тем, с кем что-то сделали⁵. Культурная виктимология в лице социолога Гейба Мютена (Gabe Mythen) предлагает понимать конструкт жертвы как открытую систему: «В бытии или становлении жертвой нет четкости и абсолютной предзаданности. Осваивать статус жертвы — значит быть частью многочисленных интеракций и процессов, включающих идентификацию, лейбелинг и признание». И здесь мы видим второе смещение акцентов, ведь упомянутые идентификация, лейбеллинг и признание — это маркеры того, что жертва не натуральный, но социальный факт, и характеристики жертвы дают нам сведения не о жертве, но об обществе, которое конструирует смыслы. Именно в этом направлении построено комплексное исследование культурных практик виктимности (*cultural practices of victimhood*), проведенное главой тильбургского исследовательского института victim studies Мартином Хундертом (Martin Hoondert) и отвечающее на вопрос, как именно жертва практикуется в различных областях человеческой деятельности⁶. Хундерт привлекает оптику теории перформативности для описания как самой репрезентации жертвы, так и производимых ею эффектов, ища на сломах и сдвигах этих практик достаточное основание для освобождения жертвы от предзаданности значений. Общий смысловой горизонт его работы — жертва «никогда не является тем, кто пассивно страдает»⁷, напротив, она обладает активом действий и выбора модели поведения; то есть жертва в пределе — это активная позиция, несмотря на наличие как суверенной, так и подчиненной (доминирующей) формы ее культурной репрезентации.

Здесь мы видим интересную тенденцию к освобождению конструкта

⁵ Green, S. & Pemberton, A. The impact of crime: Victimisation, harm and resilience // Sandra Walklate (Ed.), Handbook of victims and victimology. Second edition. London: Routledge, 2018.

⁶ Hoondert Martin. Introduction: Cultural Practices of Victimhood. P. 3.

⁷ Там же.

жертвы от своего смыслового антагониста, априорно определяющего всякую жертву «от обратного». То есть жертва может быть понята независимо от преступника, палача, жреца или любой другой из сформировавшихся культурных моделей жертвы, которые всегда опираются на диаду «активного-пассивного». В качестве точки опоры культурная виктимология обозначает индивидуальные права и свободы жертвы, и в еще большей степени опыт, который кодируется в различных культурных практиках. «Опыт жертвы» также подвергается теоретической дистилляции, освобождаясь от традиционных и новых смысловых примесей типа «мученик», «неудачник», «свидетель», «выживший» и подобных в активном поиске собственной идентичности. Но конечная стадия этого процесса неясна и рефлексивной конвенции по ее поводу нет. Процесс во многом протекает по закону самоорганизации, оформляясь время от времени в заметных социальных феноменах. Например, один из таких феноменов социологи Брэдли Кэмбелл и Джейсон Мэннинг (Bradley Campbell, Jason Manning) зафиксировали и подвергли тщательному анализу в виде концепции «культура виктимности» (*victimhood culture*)⁸. Понятно, что в целом тенденция к независимости жертвы не носит повсеместного характера, и инкорпорирована в современную медиа-среду (что совсем неудивительно). При этом даже внутри медиа-империй свободная жертва – новый феномен; виктимологи отмечают, что «жертвы по-прежнему в главном понимаются как те, кого “приносят в жертву”»⁹. Однако сам факт наличия такого «не повседневного» конструкта жертвы с открытым потенциалом нам кажется весьма симптоматичным. Такая гибкость явным образом связана с принципиальной перестройкой конструкта жертвы в связи с широкими макросоциальными сдвигами, происходящими на фоне глобальной циркуляции капитала, а значит, вполне можно спрогнозировать рост распространения подобного конструкта жертвы в ближайшей перспективе глобализации.

При всей неоднозначности и мифологизированности понятия глобализации невозможно не обратить внимания на производимые им эффекты, одним из которых оказывается специфический конструкт жертвы с открытой валентностью. Если эффект глобализации принимать «не как идею, но как факт»¹⁰, тогда у его мифологизированности будет функциональная сторона, ведь влияние логики интеграции и унификации на правила конструирования жертвы осуществляется во многом на волне аффективно принятых идей о глобализации страхов, насилия и преступлений. Пристальное рассмотрение этого аффективного компонента показывает его сложность и многомерность, а также глубокую укорененность в структурах общества. Работа подобных социальных аффектов изучалась во многих научных теориях, например, в концепции культуры страха Франка Фюреди¹¹, рассматривающего всемирное

⁸ Концепт «культура виктимности» (*victimhood culture*) заявлен в книге Campbell B., Manning J. «The Rise of Victimhood Culture». Palgrave MacMillan 2018. P. 301.

⁹ Напомним, что в английском языке существует разница в словах *victim* (жертва-потерпевший) и *sacrifice* (жертва-жертвоприношения).

¹⁰ Milanovich Branco. Global inequality: a new approach for the age of globalization. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 2016. P. 320.

производство страха и включенность его в мировой капитал в виде товара; и в концепции общества риска Гейба Мютена¹², где дается почва для сопоставительного анализа процессов виктимизации. В большинстве случаев мифопоэзис открытых мировых границ опирается на технологическую революцию и медиасистемы нового поколения: «возможности коммуникационных и транспортных технологий, проницаемость границ, компьютерные сети — все это делает границы государства нерелевантными, умаляет авторитет государства. Киберфинансы и оффшорный банкинг позволяют организованной преступности создавать глобальную сеть и избегать государственного законного регулирования»¹³. И не важно в данном случае, в какой мере это релевантно действительности, и насколько может быть подтверждено в статистическом отношении; важно, что производимый эффект вполне измерим и фактичен. «Глобализация производит новые типы виктимизации»¹⁴, размывая границы локальных практик. Так в контексте *новых войн* появляется термин «новая виктимность», обозначающий ядро формирования смыслов жертвы, а также зону особого накала исследовательских страстей. Новые войны — понятие, введенное исследователями для того, чтобы отличить современные конфликты от традиционных войн; собственно это войны в контексте глобализма, когда границы страны не имеют особого значения и конфликт часто разворачивается внутри географического контура страны, но затрагивает локальное и глобальное, с непременным присутствием медиа. Новая виктимность (в некотором упрощении) подразумевает возможность интерпретации традиционного как угрозы, что сразу позволяет выстраивать конструкт жертвы в контексте глобализма, включать жертву в корпус международных человеческих прав и перераспределять ответственность. Последнее в контексте биополитической идеи о жертве как недопустимом сбое системы безопасности означает включение логики компенсации, что не просто перераспределяет ответственность, но может полностью ее снимать. Чарльз Сайкс (Charles Sykes) отмечает в книге «Нация жертв»: «индивид провозглашает себя жертвой с целью не нести больше ответственность за свои действия»¹⁵. Процедура этического банкротства и алгоритм «обретения права» прост и достаточно доступен, чтобы запустить цепь «самопровозглашенных жертв» — удивительного явления, демонстрирующего востребованность статуса жертвы и его властные и правовые возможности. Движение #metoo доказало уже действенность этого алгоритма и его потенциал социального реформирования.

С этого момента стартует основная трудность новой виктимологии — так называемая дилемма жертвы, не позволяющая отличить аутентичную жертву от неаутентичной. Действительно, сделав отправной точкой опыт жертвы, трудно

¹¹ Furedi Frank. Culture of Fear Revisited. Bloomsbury Academic, 2006. P. 236.

¹² Mythen Gabe, Walklate Sandra. Beyond the risk society: critical reflections on risk and human security: critical reflections on risk and human security, McGraw-hill education (UK), 2006. P. 255.

¹³ Laverick Wendy. Global injustice and crime control. Abingdon, Routledge, 2016. P. 294.

¹⁴ Emanuella del Re, Seema Shekhovat. Crime and victimhood in globalizes world order // Revisita di criminologia, vol XII, № 3, 2018. P. 60.

¹⁵ Sykes Charles. A Nation of Victims: The Decay of the American Character. New York: St.Martin's, 1992. P. 153.

отказать в запросе на статус жертвы тому, кто его запрашивает, аргументируя именно опытом. Однако отсутствие внутренних критериев — проблема для исследователей, но не для общественности, опирающейся в механизмах признания на коллективную аффективную реакцию — известную как *театр солидарности*¹⁶. В этой сумеречной зоне «самопровозглашенных жертв» обнаруживаются конструкты жертв вроде Рейчел Долезал¹⁷, которая расценивается некоторыми как «профессиональная липовая жертва» и подвергается резкой критике, а другими — как провозвестник идей открытой идентичности и яркий представитель формирующейся ментальности жертвы. «Все хотят быть жертвами, поскольку статус жертвы дает определенные преференции в лечении, право на получение компенсаций и иммунитет к критике, а также подключает силы полиции и суда, чтобы разобраться с теми, кто причинил вам вред»¹⁸. Виктимность может также расцениваться как эротический или экзистенциальный девайс¹⁹, что в целом неудивительно, ведь такой нагруженный общественным вниманием статус, как жертва, не может не превратиться в желаемый товар в логике глобального капитала. Понятно, что эксплуатировать образ жертвы для глянцевой обложки²⁰ и быть жертвой — не одно и то же, но в том то и проблема, что четкой границы между двумя этими состояниями нет. Можно отличить полюса, но и только. Конструкт жертвы собирается в условиях медиасистем мгновенно, медиа сами конструируют события, руководствуясь аффективностью реакции — эти процессы нередко приводят к созданию информационного саркофага вокруг жертвы, пробиться через который невозможно ни в направлении внутрь, ни в направлении наружу. «По мере того, как прогресс двигает общество в направлении равенства и человечности, требуется все меньшего насилия, чтобы запустить наивысший уровень возмущения». Возрастающий уровень сенситивности, характерный для «цивилизованных гражданских обществ», вполне можно объяснить из логики производства коллективного аффекта, описанного нами через структуры хайпа²¹. Присутствие коллективного сетевого резонанса как «моментального глобального жюри»²²

¹⁶ Munt Sally. Argumentum ad misericordiam: the cultural politics of victim media // Feminist media studies. University of Sussex. November 2016. P. 14.

¹⁷ Рейчел Долезал (Rachel Dolezal) — (родилась 12 ноября 1977 года) американская активистка, мультимедийный художник, бывший преподаватель колледжа и бывший президент отделения NAACP. Долезал скандально известна тем, что определяет себя как ущемленного в правах представителя африканской расы, хотя имеет европейское происхождение. Она многократно симулировала свою расовую принадлежность и была уличена в подлоге, ее оправдание строится на предпосылке о флюидности расы как социального императива и свободе в выборе идентичности.

¹⁸ Munt Sally. Argumentum ad misericordiam: the cultural politics of victim media. P. 2.

¹⁹ Там же. Р. 7.

²⁰ Подробнее работа с образом жертвы в поле селебрити см. доклад Артема Фейгельмана «Виктимология селебрити и презентация социального господства в современной массовой культуре». URL: [http://www.phil63.ru/videomaterialy-dokladы-lektsii-besedy/](http://www.phil63.ru/videomaterialy-doklady-lektsii-besedy/) (дата обращения: 14.11.2019).

²¹ Иваненко Елена. Хайп: производство и потребление коллективного тела (*в печати*). 2019.

связано с внутренним конфликтом глобализации, который описывается исследователями как непреодолимая разница в скоростях формирования «преступления и наказания»: в глобальном формате виктимные конструкции возникают быстро, а нормы по их регулированию — очень отстают. Естественным образом эта пустота социального поля заполняется скоростной реакцией общества в виде хайпа на тему справедливости и проекциями самосуда, в разной степени серьезными. Кстати говоря, этот общественный фантазм так сильно заметен, что находит отражение в товарах и услугах развлекательной индустрии в виде игр, фильмов, комиксов и прочей продукции, пытающейся обнаружить и протестировать альтернативную версию абсолютного закона по установлению всемирной справедливости.

Как бы то ни было, жертвоцентрированный нарратив продолжает наматывать на себя потоки внимания и капитала, и как следствие подпадает под законы товарной логики и конкуренции, порождая феномен «сравнительной виктимности» (*competitive victimhood*). Сравнительная виктимность основывается на глубоком и основательном (можно даже сказать, критическом) поиске лишенности и лимитарности в структуре идентичности, а также выстраивании исторической перспективы виктимизации, то есть ее изменчивости во времени. Это направленная внутрь практика поиска лимитов, направлена на обнаружение констант, могущих стать основой иерархии жертв. Астрид Франк (Asrteide Frank) так описывает этот феномен: «сравнительная виктимность может быть обнаружена как на групповом, так и на индивидуальном уровнях. Печально известный конфликт между иудеями и палестинцами часто упоминается как пример сравнительной виктимности: “Спроси Израильтянина о конфликте с Палестинцами и ты, скорее всего, услышишь рассказ о горе и жертвах. Странным образом, если задать Палестинцу такой же вопрос, ты услышишь всю ту же историю о горе и жертвах”. С тех пор как Израиль стал государством в 1948 году, и израильтяне, и палестинцы обоюдно стали жертвами»²³. Войны жертв — очень сложное поле для проведения внутренних дистинкций, и мы не собираемся в данном тексте углубляться в этот вопрос и организовывать новую дисциплину под названием «Сравнительное жертвоведение». Нас интересует очевидный в общем-то факт сходства войны жертв и товарной конкуренции за привилегии. Было бы интересно поставить в одну плоскость товар, суверенитет и жертву; есть подозрение, что синтез этих трех частей может сказать многое о мировой экономике в целом и об экономике жертвы в частности. Однако *жертва как суверенный товар* пока останется оксюмороном.

Итак, детерминированность жертвы разрушается и неожиданным образом замещается ее самореферентностью. Модель с открытой валентностью «кто против жертвы?» — это адаптация конструкта жертвы под имеющиеся условия быстрой транзакции смыслов и ценностей, обеспечивающая свободную циркуляцию виктимности в мировом масштабе, максимально свободную от

²² Munt Sally. Argumentum ad misericordiam: the cultural politics of victim media. P. 1.

²³ Sergieieva Kateryna. Faux Victimhood: Its Elements and Appeal. Reutlingen, American Studies, 2015. P. 12.

тягот локализации, подобную циркуляции капитала. Похоже, что сборка подобного конструкта может осуществляться за счет того, что социологи называют микроагgression: «Микроагgression — самое сложнокодифицируемое явление ..., под нее подпадает любое самое незначительное действие: все зависит от представителя меньшинства и глубины его способности оскорбиться»²⁴. Готовность обидеться, быть задетым — в сущности, есть желание не просто комфорта, но привилегий. Жаждя быть жертвой запускает и поддерживает новые социальные тренды вроде *позитивной дискриминации жертвы*, позволяющие вовлекать и перекодировать общественное внимание. В чистом виде эта модель описана Мэннингом и Кэмпбеллом в упомянутой выше теории культуры виктимности. Опять таки, эта конструкция — производное от определенных условий и едва ли она окажется жизнеспособной в рамках локальных культур, но тем не менее эта модель токсична и имеет прямое воздействие на формирование идентичности жертвы и структур виктимности, так как включена в работу медиаэтика и обладает потенциалом к распространению. Самореферентность подобного конструкта жертвы и ее независимость от традиционных связок, а также высокая адаптивность к изменяющимся условиям социального поля, задают вектор эволюции цифровой виктимократии, или власти жертв. Власть жертвы опирается на ресурс общественного внимания: попасть в свет коллективного аффекта (эмпатии или негодования) — значит получить доступ к ресурсу. Неопределенность «кто против жертвы» оставляет постоянный саспенс угрозы, что само по себе может быть оценено как достаточно травмирующее основание. Такой наиболее открытый капитал жертвы функционирует как валюта интернационального толка, поскольку в свете высокой ценности аффектов и внимания в пространстве социального конструкта жертвы востребован как перспективный карьер эмоций, на который претендуют многие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Campbell B. and Manning J.* “Microaggression and Moral Cultures”, Comparative Sociology 13. 2014.
2. *Campbell B., Manning J.* «The Rise of Victimhood Culture». Palgrave MacMillan 2018. P. 301.
3. *Furedi F.* (1998). New Britain: a nation of victims. Society, 35(3), 80-84.
4. *Hoondert Martin.* Introduction: Cultural Practices of Victimhood // Cultural Practices of Victimhood. Edited by Martin Hoondert, Paul Mutzaers, William Arfman. Routledge, 2018. P. 258.
5. *Munt Sally.* Argumentum ad misericordiam: the cultural politics of victim media // Feminist media studies. University of Sussex. November 2016. P. 1—18.
6. *Quinney Richard.* Who is the victim? // Criminology. November 1972. P. 314.
7. *Emanuella del Re, Seema Shekhovat.* Crime and victimhood in globalizes world order // Revisita di criminologia. Vol XII. № 3. 2018. P. 55—69.
8. *Sergieieva Kateryna.* Faux Victimhood: Its Elements and Appeal. Reutlingen, American Studies, 2015. P. 1—16.

²⁴ *Campbell B. and Manning J.* “Microaggression and Moral Cultures”, Comparative Sociology 13. 2014.

Кто против жертвы? К вопросу о генеалогии понятия «жертва»

9. *Walklate Sandra*. Who is the victim of crime? Paying homage to the work of Richard Quinney // Crime, Media, Culture: 8(2): 2012. P. 173–184.